

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
BALKAN-KOMMISSION

INSTITUT FÜR SLAWISTIK DER UNIVERSITÄT WIEN

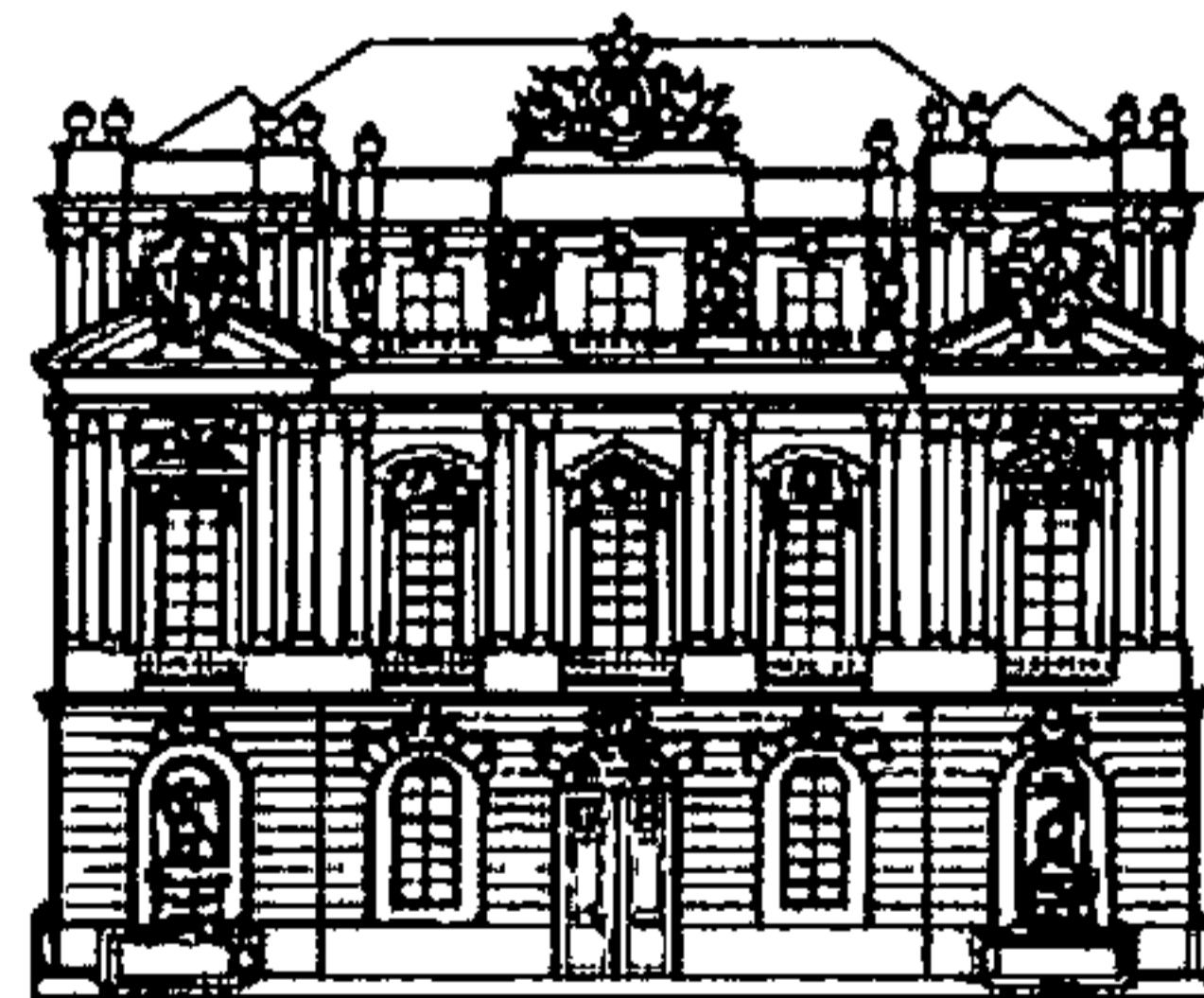
WIENER  
SLAVISTISCHES JAHRBUCH

Band 43

---

SONDERDRUCK

---



VERLAG DER  
ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

WIEN 1997

---

## KONGRESSBEITRÄGE

---

Дорогому и глубокоуважаемому  
Дмитрию Вячеславовичу

СЕРГЕЮ С. АВЕРИНЦЕВУ (ВЕНА) от поклонника

и сердечного друга  
„Ученики Сауса“: о самоопределении литературного  
субъекта в русском символизме

Поцрвз  
1998

Я наполовину — сын земли русской, с нее,  
однако, согнанный, наполовину — чужеземец,  
из учеников Сауса, где забывают род и племя.

Вяч. Иванов, Переписка из двух углов

Нет надобности напоминать, что, слова, вынесенные в эпиграф, подразумевают отсылку к одному из наиболее основополагающих текстов немецкой романтики — знаменитому роману Новалиса „Die Lehrlinge in Saïs“. Для Вяч. Иванова, переводчика и страстного любителя новалисовской поэзии, особыми нитями связанного и с другими представителями романтически окрашенного немецкого идеализма (например, с Шеллингом как теоретиком символа и мифа), и притом для представителя именно соловьевского, христианско-метафизического варианта символизма, такая аллюзия очевидным образом имеет и специфическую мотивацию, какая была бы невозможна для одного из т. н. „старших“ символистов, ориентированных на другие образцы — не столько на Германию романтиков, сколько на Париж Бодлера и Малларме, на Лондон Бердсли и Оскара Уайльда и т. д. И всё же немецко-романтическое одеяние самохарактеристики Вяч. Иванова объективно имеет значимость симптома отнюдь не только для его личности или хотя бы для направления соловьевцев. Самохарактеристика эта, как она читается в цельном контексте ивановского творчества, должна быть, по сути дела, отнесена не только к нему самому<sup>1</sup>, но в той или иной мере к русскому символизму в целом, к собратьям

---

<sup>1</sup> Тема „бездомности“ и „безродности“ исключительно характерна для всего символизма. У Вяч. Иванова можно вспомнить слова из сонета 1915 г., озаглавленном „Горожанин“: „Я — царь подоблачных лачуг // И жрец беспочвенных молелен“ (Собр. соч. IV, Брюссель, 1987, с. 42). Переработку этого стихотворения, осуществленную в 1928 г., уже в Риме, и вышедшую за пределы сонетной формы, поэт включил в сборник „Свет Вечерний“: *Повсюду гость, и чуженин, / И с Музой века безземелен, / Скворешниц вольных граждан, / Беспочвенно я запределен ...* Стоит обратить внимание на то, что „безземельность“ названа как черта, присутствующая „Музе века“ как таковой. И в самом деле, параллели из других служителей

по символистской „общине“, в том числе и таким, как хотя бы Бальмонт, к соловьевцам отнюдь не принадлежавший; до чего красноречиво Иванов говорит в стихах о его „бездомности“ и „безродности“!<sup>2</sup>

Поэтому упоминание „учеников Сауса“ (кстати, предполагающее мгновенную реакцию понимания у собеседника<sup>3</sup>) может послужить для нас одним из многочисленных поводов к тому, чтобы задуматься о чертах морфологического сходства между обоими феноменами *Geistesgeschichte*, не востребованными в рамки истории литературы: между русским символизмом и немецкой романтикой.

По мере углубления историко-культурной рефлексии становится всё яснее, что русский символизм невозможно описывать просто как „направление“ в истории литературы, упоминаемое в учебниках в рамках схемы, сносно работавшей когда-то в отличной для своего времени антологии И. С. Ежова и Е. И. Шамурина: 1) „символисты и поэты, связанные с символизмом“; 2) „акмеисты и поэты, связанные с акмеизмом“; 3) „футуристы и поэты, связанные с футуризмом“. Вполне понятны предложения вовсе отказаться от термина „символизм“ и говорить о более широком явлении *Russische Moderne*<sup>4</sup>. Такое решение и вправду помогло бы избежать терминологических трудностей при описании целого ряда пограничных феноменов (например, той внутренней, междуусобной оппозиции

*Музы века можно подбирать ad libitum. Например, из З. Гиппиус: „Ты пойми: мы — ни здесь, ни тут. // Наше дело — такое бездомное.“*

<sup>2</sup> В том же 1915 г. (см. предыдущее примечание) Иванов обращается к Бальмонту с сонетом, в котором есть, между прочим, такие слова: ... *Ты свободней, / Бездумней, и бездомней, и безродней, / Чем родичи семьи, где ты царишь ...* (Вяч. Иванов, Собр. соч., IV, с. 31).

<sup>3</sup> Поскольку „Переписка из двух углов“ реально была перепиской, т. е. диалогом двух, но одновременно с самого начала должна была стать книгой, — собеседника приходится иметь в виду не только эмпирического, т. е. Гершензона, но и более „умопостигаемого“, т. е. предсказуемого читателя, иначе говоря, носителя символистско-постсимволистской культуры вообще.

<sup>4</sup> Ср., например, А. Flaker, *Thesen zur Periodisierung der russischen Literatur 1892-1953*, *WSA* 32 (1993) 115-128. Для русского узуса здесь есть проблемы: не очень ясно размежевание функций в русской лексике между словами „модерн“ и „модернизм“, причем если первое слово чересчур уж привычно принадлежит антикварно понимаемой истории стилей (от архитектуры до мебели), то второе приходится делить со сферой богословия (где оно для сегодняшней России характерно не меньше, а больше, чем для католицизма времен Пия X), и к тому же оно основательно скомпрометировано дискурсом советского официоза (книга М. А. Лифшица „Почему я не модернист?“ породила в свое время нескончаемые острооты, иногда подновляемые в нынешнем соцарте). Не менее деликатен вопрос о дериватах: хотя прилагательные *модерный* и *постмодерный* подчас приходится встречать в новейших статьях, стилистическая норма русского языка продолжает им противиться, и для русского уха они звучат нестерпимо. Все перечисленные обстоятельства могут отчасти пояснить свирепствующую ныне в России моду на словосочетание „Серебряный Век“; разумеется, оборот этот чересчур высокопарен для терминологического употребления, однако может при необходимости перенимать (и фактически перенимает) функции всё той же пары терминов *модерн/модернизм*.

символизму, который в самой среде символистов персонифицировал Кузмин и отчасти Анненский<sup>5</sup>); к тому же оно налаживает правильные отношения между историей литературы и историей искусства, воссоединяя символистов с Врубелем и Скрябиным и т. д. Однако термин „*Moderne*“ всей своей историей слишком отчетливо связан с категориями *стиля*: между тем очень важно, что не эти категории обеспечивают единство символистской культурной общности. Контрасты стилистические у различных представителей русского символизма имеют диапазон, намного превышающий нормальные различия индивидуальных манер в пределах т. н. *стиля* эпохи. Например, Мережковский как стилист на всю жизнь остался в той „надсоновщине“, с которой он, знавший Надсона лично, когда-то начинал, да и более талантливая Гиппиус тоже недалеко ушла от надсоновско-фофановской стилистики; но их темы — никак не надсоновские. То, что у Мережковского и Гиппиус называлось „*интересоваться интересным*“ — вот это в них символистское. Напротив, угловатая поэтика Андрея Белого — уже наполовину авангардизм: стилистический перепад внутри символизма чрезвычайно велик<sup>6</sup>.

Ситуация, в которой рождался русский символизм, в определенной степени напоминала другую: рождение немецкого романтизма. Там ведь

---

<sup>5</sup> Сюда же относится упоминаемый Флаккером казус босяцкого ницшеанства и вообще „неоромантики“ раннего Максима Горького (там же, с. 118). Вообще интересная тема — околосимволистские мотивы и интонации у „реалистов“, т. н. „*знаньевцев*“, например, у Бунина, так яростно бранившего символизм, и в особенности у Леонида Андреева, всё творчество которого, так сказать, парасимволистское. Тем острее был вопрос о критериях, по которым символисты не могут воспринимать этих авторов как „своих“. Недаром совместное участие Вяч. Иванова со „*знаньевцами*“ в альманахе „*Факелы*“ (1906) вызвало такую острую полемику в символистском кругу. При всей, казалось бы, отчужденности Мандельштама от символизма в его выпадах против Леонида Андреева в „*Шуме времени*“ ощутимо наряду с его личным вкусом также и эхо настроений, в свое время артикулировавшихся в брюсовских „*Весех*“: акмеисты ощущали себя в самой своей оппозиции символистам внутри круга символистской культурной инициации, между тем как „*знаньевцы*“ оставались профанами именно по отношению к этой инициации.

<sup>6</sup> Нельзя сказать, что эти контрасты всегда совпадают с различием между „*старшими*“ и „*младшими*“ символистами (о котором упоминает А. Флаккер, там же, с. 117). Тот же Андрей Белый с Блоком — ровесники, земляки-москвичи и приятели с ранних лет, совместно переживавшие все свои „софийные“ соловьевские инициации, соперники в обожании Любви Дмитриевны (и после всех кризисов своих отношений под конец еще и сотоварищи в экстатической реакции на ранний большевизм); любые классификаторы отнесут их обоих к одному и тому же направлению русского символизма; но это несколько не мешает тому, что поэтика Блока — это, как пронзительно (и вполне уважительно!) отметил в своей статье к первой годовщине его смерти Мандельштам, всецело „*расширенная и углубленная*“ поэтика XIX в., в то время как угловатые фонетические, синтаксические и пунктуационные ходы Андрея Белого („... *Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет, // Хворостом шуршит. // Солнце: — меркнет, виснет, гаснет ...*“ — уже в 1908 г.) куда ближе к футуризму или, скажем, к поздней Цветаевой, чем к норме прошлого века.

границы тоже — не стилистические. Поэтика столь любимого Вяч. Ивановым Новалиса на уровне чисто формальном мало выделяется в сравнении с нормой XVIII века и подавно не представляет ничего общего с фонетической и ритмической эксцентрикой Клеменса Брентано. Всякая попытка выделить стиль немецкой романтики тем более безнадежна, что она и не была ограничена пределами литературы и искусства, в которых стилистические категории как таковые имеют самоочевидный смысл; у немецкой романтики были свои философы — Фихте и Шеллинг, свой теолог — Шлейермахер, своя натурфилософия, даже своя теория права — в романтике „гейдельбергской“. Единство создавалось идеями и прежде всего психологической атмосферой, которая в применении к „йенскому“ периоду хорошо описана Шеллингом: *„Прекрасное было время ... Человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему существующему противопоставить свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно“*. Это состояние, описанное философом в процитированном пассаже как эйфорическая раскованность, отнюдь не было чуждо возможностям депрессивным<sup>7</sup>; амбивалентный взаимопереход обоих эксцессов связан с ощущением антропологического кризиса, выхода образа человека из тождества себе. Опасностью была игра с безграничными возможностями. Реализм и натурализм в их качестве реакции на романтику попытались противопоставить такой опасности стабильную систему социо-психологических детерминаций: человек как сущность, обусловленная законами психологии и реальностью общества. В этом была определенная оправданность реалистико-натуралистического возражения на романтическую утопию свободы как чистой возможности, не стесненной действительностью<sup>8</sup>. С другой стороны, однако, в своем внимании к меняющимся формам человеческой экзистенции, к тому, что можно назвать антропологическим кризисом, — романтизм и символизм, якобы столь далекие от реальности, оказались в известном отношении реалистичнее реализма. Именно чуткость к определенным вопросам создает единство из контрастного веера стилистических возможностей. Представляется разумным перенести определенный подход, более или менее привычный по

---

<sup>7</sup> Достаточно вспомнить такие отчетливые акцентировки того, что после Ницше принято будет называть „нигилизмом“, как опубликованная (в составе романа „Sibenkäs“) еще в 1796 г., т. е. в самый начальный период романтизма, „Rede des todten Christus vom Weltgebäude herab dass kein Gott sei“ Жана-Поля Рихтера, как появившиеся в 1804 под псевдонимом *Bonaventura* загадочные „Nachtwachen“, которые завершаются выкриком „*Nichts!*“, и т. п.

<sup>8</sup> См. приведенную выше цитату из Шеллинга. В пределах русского символизма чистая потенциальность как таковая наиболее отчетливо тематизируется у Вяч. Иванова — прежде всего в ранней поэме „Миры возможного“, вошедшей в состав „Кормчих Звезд“ (особое значение имеет также написанный по-немецки эссе 1939 „Ein Echo“ с формулой „quod non est debet esse; quod est debet fieri; quod fit erit“ („что не есть, долженствует быть; что есть, долженствует становиться; что становится, будет суцим“).

отношению к феномену немецкой романтики, на русский символизм: и у него был свой богослов — о. Павел Флоренский, и у него были свои философы, как Бердяев, и у него были свои представители в лоне гуманитарных научных дисциплин, как польско-русский филолог-классик Фаддей (Таддеуш) Зелинский. Из осторожности воздержимся от прослеживания ветвей того же феномена в области космологии и доктрин о природе, хотя и это в принципе было бы возможно: лучше сосредоточиться на темах антропологических.

Особого рода единство опыта, сплачивавшее воедино столь различных литературных деятелей, какими были представители русского символизма, выразительно описано у З. Гиппиус в статье „Мы и они“:

*„... Когда мы были еще в нашей уединенности, в черном и безнадежном подполье — если и писал кто-нибудь что, говорил, — то заведомо в пустоту, для себя о д н о г о , как больной человек стонет один в своей комнате. Тогда казалось, что это твое личное, случайное, исключительное, бессмысленное несчастье, исключительное до гордости и до самоупоения; никого, как ты, нет, никому крики твои не нужны, и пусть, и хорошо, что не нужны. И мы тогда писали и говорили, — хорошо ли, дурно ли, — но без надежды и, главное, без желания быть услышанными.*

*Но только что затеплилась тонкая светлая черточка в подполье, и только что сверкнула первая искра несомненного, чувственного знания, что ни каждый из нас не один, ни мы даже, несколько определенных людей, не одни, — не одни ищем, не одни падаем, не одни идем, не для нас одних и выход, — только что поняли мы это, как всё изменилось. Для каждого стало ясно, что он оттого только и пошел, и должен был идти в эту черную муку и темноту, и смог увидеть дальний выход, что все идут туда же, и тоже могут увидеть выход. В этот момент первого, яркого понимания, очень еще отвлеченного, каждый, под словом „мы“, подразумевал „мы все“. И явилась новая, не прежняя, потребность говорить, писать, кричать<sup>9</sup>.“*

То, о чем здесь говорится, — иной фактор сближения, чем те, о которых привычно думать в других контекстах историку литературы. Последний привык, например, сталкиваться с феноменом литературной „генерации“ — формации, обусловленной возрастной близостью. В непосредственном соседстве с русским символизмом мы находим это у футуристов и особенно у акмеистов. „Цех поэтов“ есть прежде всего иного создание сверстников, „мальчиков“ и „девочек“ одного и того же возраста (и примерно одной и той же среды, скажем, обязательно петербургской). Характерна тематизация поколенческого в позднейших записях Ахматовой: „Несомненно, символизм — явление 19-го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в предыдущем. Николай Степанович моложе Блока только на 7 лет, но между ними — бездн ...“<sup>10</sup>; можно

<sup>9</sup> „Весы“, 1906, № 6, с. 47-54.

<sup>10</sup> Анна Ахматова, Десятые годы, сост. и прим. Р. Д. Тименчика и К. М. Поливанова, Москва, 1989 с. 134.

вспомнить склонность той же Ахматовой не без эмфазы отмечать, кто из знаменитостей более позднего времени (скажем, Чарли Чаплин или, *horribile dictu*, Гитлер) родился в один год с ней<sup>11</sup>. Напротив, не существует никакой возможности увидеть как „генерацию“ не только русский символизм в целом<sup>12</sup>, но и какое-либо из его главных направлений. Только в качестве чисто условного оборота речи пригодна формула, делящая символистов на „старших“ и „младших“. Любой историк литературы бестрепетно причисляет Вяч. Иванова, почти сорокалетним вступившего в литературную жизнь, к „младшим“ символистам, а Брюсова, который родился на целых семь лет позже Иванова — к *старшим*.

В самом деле, если характерно, что акмеисты и были все более или менее ровесниками — то столь же характерно, что в кругу символистов физический возраст поразительно иррелевантен. Черту безвозрастности подчеркивает в облике Вяч. Иванова, когда тот в возрасте под сорок впервые входил в литературную жизнь, знаменитое стихотворение Блока: „Слегка согбен, ни стар, ни молод ...“. А чего стоит дебют Иннокентия Анненского, уже почти пятидесятилетнего директора царскосельской гимназии, да еще укрывшегося под маской *Ник. Т-о*, со сборником „Тихих песен!“ Казусы Федора Сологуба и Василия Розанова, этих выходцев из среды провинциального учительства, да и Михаила Кузмина, этого антисимволиста в лоне символизма, не так красочны, но относятся сюда же: все они дебютировали поздно, и, главное, поздно стали тем, чем были в контексте символистской культуры. Недаром Вяч. Иванов мог предложить Андрею Белому, который был почти на полтора десятилетия моложе его, перейти с ним на „ты“, — в этом своем решении, шокировавшем, по мемуарному свидетельству Белого, Зинаиду Гиппиус<sup>13</sup>, самосознание символистской общности выразилось очень точно. Отметим, что „общинное“ самосознание русского символизма, весьма реальное поначалу, но и позднее, вопреки всем распрям, остававшееся в силе хотя бы на правах императива, долженствовало, стремилось отменить не только грани между поколениями, но и многие другие различия, важные в *филистерском* мире вокруг „общины“: различие в традиционном распределении ролей мужчин и женщин (см. ниже), а также значимость происхождения — не важно, пришел ли человек из уюта петербургского начальственного особняка, как Мережковский, или из нищей литовской семьи, как Балтрушайтис, важно,

<sup>11</sup> Там же, с. 7.

<sup>12</sup> Вспомним напоминания Лидии Гинзбург, относящиеся вообще к теме символизм versus акмеизм: „Литературная школа — понятие растяжимое: от эпихального направления до компании друзей. Символизм со всем, что его подготовило и что шло по его следам, был большим, мировым течением в области теоретической мысли, литературы, изобразительного искусства, театра; акмеисты — это пять-шесть молодых поэтов [...]“ (В кн.: О. Мандельштам, Камень. „Литературные Памятники“, Ленинград 1990, с. 264.

<sup>13</sup> См. Андрей Белый, Начало века, Москва 1990, с. 345.

не откуда, а куда он пришел, и притом не только для братьев, но и для него самого. Федор Сологуб, переживший в детстве ужасы страшнее, чем Максим Горький, не мог, в отличие от последнего, положить эти ужасы в основу своего писательского *image*, и эта невозможность была связана именно с его принадлежностью к символистам. Сказать по такому поводу, что символисты, в отличие от реалистов, игнорировали „социальную тему“, было бы неразумно. (Мнимый аполитизм символистов — вообще миф, сложившийся, разумеется, не без их участия; все призывы „никому не сочувствовать“, все декларации о „пустынной душе“ как „едином отечестве“, и т. д., и т. п. — выливающийся в *épatage* отказ тематизировать гражданские эмоции на простодушно-сентиментальный манер эпигонов некрасовско-надсоновской поры.) Тот же Сологуб писал стихи, например, о расстрелах демонстраций, о еврейских погромах<sup>14</sup>. Но важно, что это было — не о нем самом. Ибо символизм держался верой, что настоящая жизнь символиста начинается с некоей инициации, делающей его символом, и что всё предшествовавшее — предыстория, значения не имеющая. Как говорится у Вяч. Иванова:

---

<sup>14</sup> А „Эстонки“ Иннокентия Анненского — пожалуй, за всё время существования русской поэзии ее самый сильный протест против русской политики имперских репрессалий. Мережковских невозможно представить себе без прямо-таки неистового политического engagement, доходившего в пору антисамодержавных аффектов до симпатий к эсеровскому террору, а в пору антибольшевизма до профашистских тенденций (известный трагикомически-гротескный эпизод визита начинающего Гумилева к Мережковским в Париже, описанный в письме Гумилева к Брюсову от 8 января 1907 г., был обусловлен отчасти тем, что будущему лидеру акмеизма был задан вопрос о его политическом мировоззрении; см. комментарии А. Лаврова в кн.: Андрей Белый, Между двух революций, Москва 1990, с. 492-493). Далекое не случайно после Февральской революции родился план, согласно которому республиканский государственный гимн России должны были написать два корифея символистской поэзии — Бальмонт и Вяч. Иванов. Столь же не случайно упоминается опыт революции 1905 г. („восстанья страшная душа“) в известных стихах Блока о Вяч. Иванове („Был скрипок вой в разгаре бала ...“). Русский символизм имел даже что-то вроде своей нормы *political correctness*, как это испытал на себе Василий Розанов в пору бойкота, которому его подвергли за его черносотенство (исключение из Петербургского Религиозно-Философского общества 26 января 1914 г.). На периферии символизма возможно было такое явление, как Борис Садовской с его демонстративно правой ориентацией, печатавшийся на вторых ролях в „Весах“, — но это именно периферийная фигура, т. е. исключение, подтверждающее правило. Особое обстоятельство — неприемлемость символистской (и постсимволистской!) культуры как таковой не только для вкуса, но также и для *political correctness* определенных либеральных кругов; это парадоксально постольку, поскольку именно в политических вопросах позиция большинства символистов была достаточно близка позиции этих кругов. Даже после 1917 г., в пору становления сталинской литературной политики, реликты разобщенности между наследниками гражданской литературы прошлого века и адептами символистско-постсимволистской культуры оставались фоном событий, сильно облегчая официозу задачу ликвидации писательской солидарности: не надо забывать, что первая атака против Мандельштама была предпринята в 1928 г. А. Г. Горнфельдом, былым корреспондентом Короленко, и лишь подхвачена Д. Заславским.



„... Я начал, помню, жить  
 В ночь лунную, в пещерах Колизея.  
 И долго жил той жизнью, живой  
 Впервые ...“<sup>15</sup>

Отметим, что в символистской культурной жизни слабеет и такая разновидность социального самоопределения, как этнические перегородки. Русский символизм пришелся на пору еще не виданного в истории русской культуры присутствия „инородцев“ — фамилии Врубеля и Гиппиусов, Балтрушайтиса и Чурлёниса<sup>16</sup>, Виленкина-Минского и Гершензона и т. п. говорят за себя; что важнее, их присутствие осознается, тематизируется — в русском культурном сознании впервые с наивных времен романтизма пробуждается любопытство к многоэтничности состава населения Российской империи, которое непробудно спало в некрасовские времена<sup>17</sup>.

Хотя тема равноправия мужчин и женщин, а также сексуальной эмансипации, довольно много обсуждалась у леворадикальных мыслителей Европы и России, например, у Анфантена во Франции и у Чернышевского в России, всё же нельзя в этом контексте не вспомнить „Lucinde“ Фридриха фон Шлегеля (и сочувственную реакцию теолога романтики Шлейермахера в его анонимно напечатанных „Vertraute Briefe über Lucinde“, 1800), а также, например, публичную лекцию Вяч. Иванова 1908 г. „О достоинстве женщины“ (см. ниже). Столь важная для всей биографии Вяч. Иванова его встреча с Лидией только и может быть понята на фоне

<sup>15</sup> „Послание на Кавказ“ из „Нежной Тайны“ (Собр. соч. III, с. 58).

<sup>16</sup> В принятой тогда форме написания и произнесения „Чурляниса“.

<sup>17</sup> Как известно, Некрасов в своем стихотворении на смерть Тараса Шевченко назвал этого борца за украинскую этническую, культурную и политическую самостоятельность — „русской земли человек замечательный“! Чуть ли не единственное изображение „инородчества“ у Некрасова (за вычетом польской темы, важной для него биографически) — тривиально антисемитское изображение еврейских дельцов в драматической сатире „Современники“ с передразниванием еврейского говора и т. п. Даже утрашающая амбивалентность интереса к еврейству у Василия Розанова в любом, наихудшем случае предполагает, что мыслитель символистской эпохи видит в евреях нечто большее, чем тему плоского анекдота или предмет экономически мотивированного обличения. Весьма последователен филосемитизм Вяч. Иванова (статья „К идеологии еврейского вопроса“, Собр. соч. III, с. 308-310; характерен конфликт с антисемитски настроенным А. А. Кондратьевым, см. „Новое литературное обозрение“ № 10, 1994, вып. 1, с. 107-113). Чтобы оценить распространение сочувственного интереса к еврейской традиции на периферии символистской культуры, достаточно перечитать характеристику Г. А. Рачинского в „Начале века“ Андрея Белого. Разумеется, у ряда символистов можно найти высказывания более или менее юдофобского характера, — но отмечавшее русское интеллигентное некрасовских времен отсутствие чувствительности к самой теме становится невозможным. В высшей степени характерны занятия символистов переводом грузинской, финской, польской и опять-таки еврейской поэзии, а также романтический интерес, скажем, к сходству литовского языка с санскритом (общее место, повторяющееся в текстах Вяч. Иванова, Брюсова и т. п.).

того кризиса русской культуры — не просто дисциплин культурного творчества, каковы искусства или словесность, но культуры в целом как умения жить, — который выразился в надсоновщине и готовил приход символизма. То же можно сказать о несхожем во многих частных отношениях случае Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус: это взаимное чувство, мотивация которого возможна лишь там, где все наличные данности жизни обесмысленны перед лицом невнятно ощущаемого нового, но этого нового еще нет, и душа навсегда выбирает другую душу непременно и за то, что та — не такая, как все, и несет в себе то же предчувствие. „Мы“ — это те люди, которые прошли, или почти прошли, долгий и тяжкий путь уединения, отъединенности от всех, крайнего индивидуализма; спускались в „подполье“, в самые темные коридоры, — и без всякого расчета, потому что без надежды из него выбраться“, — писала Гиппиус в упомянутой выше статье<sup>18</sup>. Символистские браки вообще имеют в себе нечто общее, типическое, вопреки резкому несхождению индивидуальных психологий как раз в сфере Эроса<sup>19</sup>. Например, совершенно невозможно представить себе в символистской среде брак поэта, типологически схожий с пушкинским браком: гений — и „просто женщина“, стоящая вообще вне словесно-мыслительной культуры, вне „проблем“ и „идей“, принципиально не предназначенная к роли равноправной собеседницы. Не будем забывать, что одной из предпосылок эпохи символизма был мощный, подготовленный, конечно, еще в пору „нигилистов“, но ставший реальностью лишь теперь подъем присутствия женщины в культурной работе: множась женские курсы были только внешним выражением факта, по сути своей куда более глубокого. Отчасти эта черта (в числе других!) роднит русский символизм с немецкой романтикой, также явившейся ответом на антропологический кризис европейского человечества. Ту эпоху ведь тоже не вообразить без Доротеи Шлегель, без Беттины Brentano, а равно и без мысли Бахофена, сконструировавшей видение матриархата („*Mutterrecht*“). В атмосфере, порождаемой такими умственными движениями, как немецкая романтика и русский символизм, женщины не хотят быть только женщинами, как, в общем, и мужчинам не очень импонирует идеал мужественности в его наивном традиционном варианте<sup>20</sup>. Прошедшее со времен немецких романтиков время

<sup>18</sup> „Мы“ и „они“, см. выше примечание 9.

<sup>19</sup> Характерны выпады Вяч. Иванова в разговоре с Альтманом от 12 сентября 1921 г. против „млений“ между Андреем Белым и Асей Тургеневым: „Как бы сидеть друг с другом рядом и не возжелать“ (à propos естественно вспоминается специфика отношений Мережковских). Нетрудно усмотреть, однако, что эксцессы „пола“ и „бесплодности“, равно неизбежные для символистской среды, обусловлены одной и той же ситуацией, когда уходит инерция само собой разумеющегося.

<sup>20</sup> Характерно, что Вяч. Иванов в феврале 1903 г. всерьез обдумывал план совместного с Лидией литературного дебюта: „... Вот мы и напали на мысль издавать последовательные выпуски наших сочинений, под общим заглавием. [...] Мы

делало антропологические сдвиги, ожидающие человечество, более очевидными. В 1908 г. Вяч. Иванов, намного упреждая нынешних ревнителей и ревнительниц феминизма, говорит в публичной лекции:

*„Дело идет, с одной стороны, о реализации самоопределения женщины, как равноправного члена в обществе и государстве; с другой — о восстановлении в должной полноте женского достоинства, о правовом осуществлении космического назначения женщины, как таковой, в жизни человечества. [...] Неудивительно, что, чем в отдаленнейшую восходим мы эпоху, тем величавее рисуется нам образ вещуньи коренных [...] тайн бытия [...] В переживаемую нами эпоху мы застаем женщину в начальных стадиях нового возвышения, которое, обеспечив за нею общественное равноправие и все внешние возможности свободного соревнования с мужчиной в материальной и духовной жизни, может или как бы смешать ее с другим полом [...], или же открыть ей, в самом равноправии, пути ее чистоженского самоутверждения, окончательно раскрывая в человечестве идею полов, поскольку они различествуют в представляемых обоими энергиях своеобразного мировосприятия и творчества<sup>21</sup>.“*

„Вещунья коренных тайн бытия“ — именно так видел Вяч. Иванов Лидию Зиновьеву-Аннибал<sup>22</sup>, хозяйку на „Башне“.

Еще раз: если мы сегодня попробуем перечислить в самом грубом приближении проблемы, обсуждаемые на уровне mass-media и определяющих повседневную жизнь миллионов наших современников, — будь-то феминизм, или т. н. *сексуальная революция*, или то, что на языке русского символизма обозначалось как „новое религиозное сознание“ (в том числе и в специфическом варианте т. н. *New Age*, но и много шире), и т. п., — мы незамедлительно обнаружим, что постановка этих проблем, конкретизирующих тему антропологического кризиса, в решающей мере была предвосхищена как немецкой романтикой, так и русским символизмом.

*получаем возможность объединить наш труд, внутренне глубоко солидарный, и [...] двойным голосом высказать наше мирозерцание эстетическое и философское ...“* (письмо А. В. Гольштейн от 5/18 февраля 1903 г.). А. В. Гольштейн стоило некоторого труда отговорить чету от этого „маритального“ проэкта, указав на насмешки, которые он не преминул бы вызвать. Но на более глубоком уровне, в формах менее наивных, замысел „двуголосного“ выражения единого мировоззрения остается константой творчества и мысли Вяч. Иванова в продолжение всего последующего периода.

<sup>21</sup> „О достоинстве женщины“, Собр. соч. III, с. 137-146, особенно с. 137 и 140-141.

<sup>22</sup> Раннефеминистские мотивы мысли Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (выразившиеся, между прочим, в ее рецензии на книгу Ж. Леблан „Выбор жизни“ в „Весах“, 1904, № 8, с. 60) рассматриваются пока наиболее подробно в статье: М. В. Михайлова, Лидия Зиновьева-Аннибал и Вячеслав Иванов: сотворчество жизни, в кн.: Вячеслав Иванов. Материалы и исследования, М. 1996, с. 319-332. Добавим, что феминистские увлечения были у только что упомянутой А. В. Гольштейн, в 1897-1903 постоянной корреспондентки и парижской собеседницы поэта, а для Лидии еще более давней приятельницы. См. М. Вахтель и О. А. Кузнецова, Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн, в издании: „Studia Slavica Hungarica“, t. 41, Budapest 1996, с. 335-376, особенно 336.